

## ОГЛАВЛЕНИЕ

---

ВСТУПЛЕНИЕ .....	5
I .....	11
II .....	22
III .....	41
IV .....	49
V .....	66
VI .....	81
VII .....	90
VIII .....	105
IX .....	115
X .....	130
XI .....	136
XII .....	149
XIII .....	161
XIV .....	167
XV .....	183
XVI .....	198
XVII .....	206
XVIII .....	216
XIX .....	226
XX .....	236
XXI .....	244
XXII .....	257
XXIII .....	267
XXIV .....	281
XXV .....	300
XXVI .....	308
XXVII .....	324
XXVIII .....	335
XXIX .....	354
XXX .....	363
XXXI .....	373
XXXII .....	382
XXXIII .....	398
XXXIV .....	408
XXXV .....	422
XXXVI .....	441

XXXVII	453
XXXVIII	463
XXXIX	481
XL	494
XLI	509
XLII	525
XLIII	533
СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ ВРЕМЁН. Ответ внука . . . .	540

## **ВСТУПЛЕНИЕ**

---

Осенью 1930 года пришлось мне прожить несколько дней в гостях у А. М. Горького в Сорренто. Его вилла, с невзрачным фасадом со стороны узенькой улицы, казалась настоящим дворцом среди обширного сада. Неподалёку, за деревьями, открывался необъятный лазурный простор: глубоко внизу небесно синел Неаполитанский залив, направо, очень далеко над заливом, огромным конусом вздымался Везувий со своей седой пинией над кратером. Крутой спуск к заливу был бархатный от густых зарослей олив и других субтропических деревьев. Стояли чудесные дни, ослепительно яркие, знойные, безветренные благодные дни. Каждый день мы спускались по извилистой дорожке вниз, к морю, и этот час прогулки пролетал незаметно, в разговорах о нашей стране, о литературе и литераторах, об Италии.

Как-то Алексей Максимович сказал, обводя палкой вокруг:

— Любуйтесь, запоминайте: тут природа — карнавал. Здесь всё играет и поёт — и море, и горы, и скалы...

В этот момент где-то наверху заревел осёл.

— Слышите, даже ослы поют канцоны.

Мы посмеялись.

— Но нет, трудно нам привыкать к этому празднику природы: она превращена здесь в бутафорию, в театральные декорации. Она — как и всё здесь —

эксплуатируется в целях наживы. А народ влачит самое жалкое существование. Золото и лохмотья. Наша страна сурова в своей красоте, но и люди — самоотверженные труженики. История нашего народа — это история великого труда и великой борьбы. Изумительный народ! Нигде труд так не возвышается до героизма, до творчества и поэзии, как в нашей стране. Наш народ прошёл через страдания, через муки и неволю, через тьму дикой жизни и деспотизма, через непрерывную борьбу, чтобы стать впереди всего человечества. И нигде нет такой литературы, как у нас, у русских. А народные песни? Они широки, как эпопея, и глубоки, как раздумье. Такие песни могли родиться только у народа великой души — в мятеже, в тоске по правде и справедливости. У каждого нашего человека есть большая биография.

В гору он шёл быстро, опираясь на палку, и я едва поспевал за ним. А ведь он был болен. Я удивился этой его быстроте и лёгкости при подъёме на крутизну, но он, не останавливаясь, разъяснил:

— Старая привычка. Когда-то я делал по шестьдесят вёрст в день.

На мой недоверчивый возглас он улыбнулся.

— Никто мне не верил, а вот Лев Николаевич сразу поверил. Наблюдал странников на большой дороге у Ясной Поляны. Идут как будто неторопливо, но упорно и делают по пятидесять-шестьдесят верст.

Уже в саду, а потом в просторном кабинете разговорились о прошлом. Я напомнил, как он спас мне жизнь в самые тяжёлые дни моей ранней юности. Безработица, голод, бесприютность, душевный надрыв и отчаяние довели меня до мысли о самоубийстве. Две книжки его рассказов потрясли меня и словно вывели на свежий воздух, на свободу и влили в душу бодрость и веру в себя.

Он заволновался и затеребил усы.

— Ну-ка, расскажите о себе — о вашем детстве, о молодости... Всё рассказывайте, ничего не утаивая, обо всех мытарствах рассказывайте...

Я бессвязно передал ему несколько событий из детских лет в деревне, на рыбных промыслах Каспия, в рабочих предместьях города, о незадачливой судьбе моих родителей, о том, как мне пришлось своими силами пробираться к свету, как охватывало меня отчаяние, когда мои надежды и усилия разбивались о неприступные преграды...

Он подошёл ко мне и взял меня за плечи.

— Слушайте, сударь мой! Ведь я же совсем не знал вашей жизни... Дайте мне слово, что вы немедленно приметесь за повесть о пережитом. Обязательно! Вот возвратитесь домой — и за работу. Летом я приеду в Москву, и вы мне прочтёте, что написали. Это очень важно, очень нужно! Наша молодёжь должна знать, какой путь прошли люди старшего поколения, какую борьбу выдержали они, чтобы дети и внуки их могли жить счастливой жизнью. Им нужно показать, как трудно создавался человек, как он был упорен и вынослив и в труде, и в борьбе и какой он совершил невероятный путь к свободе. Много писали, например, о нашем деревенском народе литераторы разных лагерей, но они сочиняли мужика: то делали его благолепным, покорным и кротким мучеником, то — наоборот — зверем и тупым дикарём. А он — простой, умный, даровитый человек, с большой любовью к труду, с мятежностью в душе. Он — свободолобив, жизнерадостен, деятелен и знает себе цену. Во и пишите — пишите так, как знаете и чувствуете его, а вы должны его знать и чувствовать. И самое главное — покажите, чем он велик и что издавна нёс в своей душе. Не надо закрывать глаза на явления тяжкие и отрицательные, — а их много было

в прошлом, и они были неизбежны, — но подчёркивайте положительные, жизнеутверждающие явления и ярко освещайте их. Я уверен, что это будет хорошая книга.

— Но всё-таки это будет и жестокая книга, Алексей Максимович.

— А вы не смущайтесь. Пишите уверенно и смело. В ней всё найдет своё место.

Этот разговор глубоко запал мне в душу, и я много дней жил под его впечатлением.

Сначала я горячо принялся за работу и не отрывался от неё несколько месяцев. Но жизнь требовала художественных откликов на события: страна переживала великий подъём во всех областях социалистического строительства. Как литератор, я не мог не принять активного участия в созидательном труде нашего народа: нужно было внимательно и долго изучать людей и их творческие подвиги и рассказать об этом своевременно. Потом разразилась война — нужно было стать рядовым бойцом на фронте литературы в напряжённые дни великой борьбы с фашистскими разбойниками.

И только позднее, памятуя своё обещание Горькому, я решил вновь приняться за повесть моей жизни. Но и потом я не раз прерывал свой труд под тяжестью сомнений: нужно ли писать о том, что испытано и пережито в далёкие годы? Какое воспитательное значение для современного читателя имеет эта длинная хроника событий моей жизни и судьбы тех людей, среди которых я жил, с которыми я делил горе и радости? И даже в эти часы раздумий настойчиво звучал внушительный голос Алексея Максимовича: «Это очень важно, очень нужно».

Так в течение ряда лет создавалась эта летопись моего детства и юности — летопись жизни человека моего поколения. Я осуществил заветное моё желание рассказать в образах о той далёкой жизни,

в условиях которой прошли мои детские годы и годы ранней юности.

Это была тяжёлая эпоха в истории нашего народа: свирепый царский деспотизм, полицейщина, мракобесие, полное бесправие народа, рабская его зависимость от помещика и кулака, катастрофическое разорение деревни, жестокая классовая борьба, пролетаризация крестьянина, бегство его с неродимой земли отцов в города, где попадал он в тиски чудовищной эксплуатации, где ждала его безработица и гибель на «дне жизни». Мрачная власть церкви, домостроевщина, постоянная борьба за кусок хлеба, круговая порука, разграбление крестьянского хозяйства озлобляли мужика, приводили в отчаяние. Он зверел, метался как затравленный, не находя себе места, срывал своё горе на жене, на детях, на соседях, на самом себе.

Марксизм только что начал зарождаться; он пускал свои корни в промышленных городах, где пролетариат мог складываться в организованную силу. В деревне самовластно распоряжались помещики и кулаки. Земский начальник, пристав с арапником и поп с крестом душили всякое проявление живой мысли. Но под этим игом никогда не угасали недовольство и мятежность народа, и в разных формах шла классовая борьба между подъярёмным бедняком и богатеем, между мужиком и помещиком. Страдания землепашца и батрака постоянно разжигали в них гнев и возмущение против самовластия барина, мироеда и начальства и обостряли ненависть к существующему порядку. В моей обездоленной деревне жили люди большой совести и беспокойной мысли, искатели правды, протестанты, бунтари.

Среди них были и мечтатели, и обличители, и мстители.

Я много встречал в юности хороших людей, но люди, с которыми я жил одной жизнью в деревне,

до сих пор близки мне как первые мои друзья. Это были те русские люди, которые не сгибались под гнётом насилия и которые имели дар видеть свет и во тьме и предчувствовать радость будущего.

Я думаю, что мои сверстники, вспоминая о минувшем, найдут в этой книге много созвучий с тем, что пережито ими, а молодёжь почувствует, что её свобода и счастье — это воплощение в действительности заветных дум и стремлений их отцов, прошедших трудный путь борьбы против эксплуатации, гнёта, бесправия, борьбы во имя торжества коммунистического идеала и творческого величия человека.

# I

---

Тело матери дрожит и корчится. Она всхлипывает и задыхается. Я встаю на колени и сам начинаю дрожать от страха. Окна ярко-зелёные от инея. На печи — могучий храп дедушки. Я прислоняюсь спиной к деревянной стене и вижу, как по избе проходит какая-то огромная тень... Я шупаю лицо матери — оно обжигает меня влажным жаром. Я боюсь кричать, боюсь отца, боюсь этой тёмной тени и плачу тихо.

Рука отца толкает меня на подушку...

— Лежи ты!.. Спи! Заболела мать-то...

Его шёпот, сердитый, угрожающий, но он мне кажется чужим, растерянным, дрожащим от испуга.

— Мама, не надо, — шепчу я, задыхаясь от слёз. — Не надо... я боюсь...

Но мать не слышит меня: она всхлипывает, взвизгивает, бьётся на кровати.

— Господи, беда-то какая!.. — стонет на печи бабушка. — Васянька, вздуй ты, Христа ради, огонь-то. Не вижу ничего — не упасть бы. Вот уж бабу-то взяли — назола какая! Это Олёнка её сглазила... Олёнка-то, чай, только Бога и молила, чтобы в нашу семью войти.

Бабушка не ворчит, а поёт — не то стонет, не то причитает.

Отец растерянно бормочет:

— Тут не знай что делается... Так её всю узлом и свивает... Титка! Сыгней!

— Её связать бы сейчас... — ворчит Сыгней — неженатый дядя, молодой парень. — Кликуша она. Кликуш вязать вожжами надо и шлею надеть... Надеть шлею с жеребой кобылы да уздой её...

Отец встаёт с кровати и в зелёном мерцании окон расплывается жуткой тенью. Всё становится нежизненным, колдовским.

Стена шевелится и шуршит очень близко, у самого уха. Это тормошатся в щелях тараканы.

Храп деда потрясает стены, и в груди у меня всё дрожит и трясётся. Деда все бояться: дед — наш владыка и бог. Он — маленький и юркий, как таракан, но его холодные, серые глаза под густыми клочьями бровей остры и неотразимы.

Я не выношу его колючих глаз, этой серебряной седины, и его окрики пронизывают меня, как удары.

Чёрная тень отца мечется около стола. Он ловит кого-то в переднем углу и ругается.

— Куда это спички-то делись? Черти лысые! Это Сёмка ночью мусолит их.

На полу, на кошме, начинается возня. В зелёном полумраке волнуются шубы, оживает солома: она пенится, шелестит. Поднимаются головы, кто-то позёвывает. Стёкла — в искрах, и с подоконников сползает фосфорический пар.

Др-ринь... — звенит и брызжет осколками стекло.

— Тьфу, дьявол!..

Дед сразу перестаёт храпеть и спокойно грозит:

— Ты что это с пузырьём-то сделал, шайтан? Шкуру спуцу! Где теперь возьмёшь пятак-то? Пятак ведь, сукин сын!

Воздух в избе густой и вязкий. Я мокрый от пота. Вдруг маму бросает с кровати какой-то вне-

запный толчок. Дверь с визгом распахивается. Звякает щеколда в сенях, в избу врывается холодный туман.

Три пёстрых лопоухих ягнёнка шарахаются от порога и прыгают по соломе.

— Эх, в одной рубашке бабёнка-то!.. — как-то по-ребячьи вскрикивает отец и бросается в седое облако пара.

— Валенки-то надень! — сердито стонет вслед ему бабушка. — Шубёнку-то!..

Отец подскакивает к кровати и что-то ищет на полу. Он ругается и бросает что-то от себя в сторону.

— И куда это валенки запропастились?! Титка их, должно, свистнул... Титка!

— На кой они мне, твои валенки!.. — злится Тит плаксиво. — Спать только не даёт со своей женёнкой-то...

Бабушка причитает на печи:

— Владычица, матушка... господи! А вы бегите... ловите её... ещё в прорубь бросится — долго ли до греха... Вот наказал бог бабёнкой-то... Надо бы канун по ней отстоять, отец... канун, бай...

— Какой тебе канун... — ворчит дед. — Кнутом её хорошенько.

Отец надевает валенки, вскидывает на плечи шубу и скрывается в густом тумане. Облака пара мерцают зелёным огнём, как живые, вихряются, кудрявятся, медленно и плавно колышутся. Я плачу от страха.

Бабушка скорбно причитает:

— Околеет бабёнка-то... Мороз-то ведь крещенский. Шевяхи лопаются... Закройте-ка вы дверь-то!.. Бестолковые какие! Избу-то всю простудили... Титка! Сёмка!..

Из омота тумана всплывают одна за другой тени. Они телесны только до пояса и кажутся не людь-

ми, а Полканами — страшными существами, у которых половина туловища человеческая, а другая лошадиная.

Ощущение беды давит сердце. Где моя мать? Куда она убежала?

Может быть, она схвачена теми страшными чудовищами, о которых рассказывала мне бабушка, — змеями о семи головах и колдунами с белыми бородами до колен? Нечистая сила! Что такое нечистая сила? Она видимо-невидимо летает около нашей избы, врывается в печные трубы, проникает и в щели и сквозь стёкла. Она не губит нас только потому, что на ночь мы «осеняем себя крестным знамением»... Что такое «крестное знамение»? И что такое «осеняем»? Я знаю, что должен положить сложенные «крестом» пальцы на темечко, на пупочек, на плечики.

Бабушка уже топчется около стола, должно быть, хочет зажечь огонь. Она стонет, но не потому, что недужит, а потому, что эти стоны, вздохи, причитания — её особенность, её суть. Без этих стонов я не мог её представить. Я набираюсь храбрости, прыгаю на пол и с размаху толкаюсь в дверь. Она чавкает и распаивается. Меня сразу охватывает сухой холод чёрной тьмы сеней. Ступни ног обжигает мороз. Двери из сеней во двор открыты — там тоже полутьма. Двор покрыт плоскушей с дырой в небо, и сверху спускается космами солома. Калитка открыта, и в распах её льётся снежное сияние. Там, на улице, вихри радужных искр на снежных сугробах. Через дорогу видны амбары в пышных шапках снега на крышах. На дороге стоит пёстрая собака и визгливо лает вдаль. Это — Кутка, мой преданный друг в играх и в опасных путешествиях в Заречье, куда я часто отправляюсь в гости к другой моей бабушке — бабушке Наталье, к маминой матери. Она живёт

в «келье» под горой, в слепенькой, старенькой избушке.

Мне чудятся визги матери где-то за дорогой, среди амбаров, и я бегу по раскалённому снегу к калитке. Подгоняемый ожогами, бегу на улицу, к Кутке, я чувствую, как хрустит снег под ногами. Ошпаренные ноги горят, и я уже не чувствую холода, только дрожь трясёт меня до самых внутренностей. Больно щиплет нос и щёки лунный мороз.

Я кричу и бегу по дороге мимо избы на сияющую луку — ровную, бескрайнюю, в волнах сугробов. Мутные стёкла избы в оранжевом накале: в избе зажгли лампу, и по стёклам пролетают фиолетовые тени. Кутка трётся около меня, прыгает мне на грудь, на плечи, радостно визжит и лижет лицо. Слюна её горячая, липкая, а потом холодная, льдистая.

А я бегу и кричу до боли в горле:

— Ма-ма-а!..

Я вижу, как вдали по снегу луки несётся лёгкий призрак.

Лунно-снежная тишина ночи полна странных тайн. Люди в полушубках бегут за призраком. К ним из-за ближайших амбаров мчится мужик в полушубке, с колом в руках.

Я знаю, что это она, мать, что за ней бегут и отец, и этот мужик, что они сейчас настигнут её, подомнут под себя.

На той стороне, за рекой, на высоком взгорье, спят избы. Всюду пусто и мёртво. Церковь смотрит на меня и на луку огромным чёрным глазом. Мне нужно к ней, к матери, — к ней во что бы то ни стало, иначе произойдёт что-то страшное, непоправимое. Она уже недалеко, она бежит ко мне.

— Ма-а-ма!.. Я здесь!.. Ма-а-ма-а!..

Но она не слышит и круто поворачивает в другую сторону, к церкви. От амбаров бегут ещё двое мужиков. Я задыхаюсь, выбиваюсь из сил, что-то сковывает моё тело. Я не чувствую ни боли, ни ожогов, но бежать уже не могу. Чьи-то руки хватают меня под мышки и бросают вверх. У меня уже нет голоса: я только хриплю.

И вот я опять в избе, опять в кровати. Рыхлое курносое лицо бабушки с отёками на щеках трясётся складками. Рукава засучены выше локтя. Она трёт мои руки и ноги и стонет:

— Парнишку-то заморозили... Ножонки-то с пару зашлись... Дурачок эдакий! Рази её, мать-то, сейчас спасёшь?.. Ишь Иван-воин какой!..

Висячая лампа с жестяным кругом коптит рваным язычком. Лампа отражается в мутном зеркальце. Над зеркалом лубочные картины, купленные у тряпичника: «Бой непобедимого, храброго богатыря с Полканом» (борода его широкая и длинная, как у дяди Ларивона, брата матери); «Ступени человеческой жизни» (горка в виде лестницы, на одной стороне которой человек рождается, растёт, поднимается, а на другой стороне спускается до самой могилы); портрет царя Александра Третьего, у которого борода похожа на бороду Полкана, и царицы с хитрой причёской — волосы взбиты высоко, как каракулевая шапка; «Сирин и Алконост» — огненные птицы, чарующие людей волшебными песнями о счастье.

Дед, покряхтывая, творит молитву. И по голосу его, мирному, кроткому, видно, что лежать ему на горячих кирпичях приятно и уютно, что он любит тараканов, кишаших на потолке над его головой. И мне слышится его поучительный голос:

— Без тараканов да мышей — дом без души.

Мои ноги ноют от тупой, мучительной боли, пальцы на ногах горят, точно обваренные кипятком.

Я реву, задыхаясь, но не от боли, а от горя, от тоски по матери.

— Ба-ба! — в отчаянии кричу я. — Мужики там убьют её, чай...

Бабушка успокаивает меня:

— Придёт она, придёт... не плачь... — И вздыхает сокрушённо: — Беда-то какая! Наказанье-то какое, батюшки!..

Дед назидательно говорит:

— Вон Серёга Каляганов свою бабу-то из рук не выпускает: всяк день кости ей правит. Водой отливают. Вот и порядок в доме — всё на своём месте.

— Зверь твой Серёга-то Каляганов... — сурово стонет бабушка. — Живьём съел бабёнку-то...

В сенях торопливый скрип шагов и девичий радостный крик:

— Несут невестку-то... волокут...

Дверь распахивается, и в избу вбегает в шубёнке внакидку тётя Катя (одна рука в рукаве, а другой рукав спустился до земли). Она вносит с собою облако пара и с разбегу сбрасывает шубейку на лавку. Она потирает руки, дует на них и смеётся возбуждённо. Длинный нос её покраснел, глаза блестят от волнения.

— Ух и мороз, — дух захватывает!.. Как только она терпит! Всю луку избегала... Я из сил выбилась, никак догнать не могла. Ванька Юлёнков кол ей под ноги кинул, а она — брык...

И вдруг со страхом в глазах бросилась ко мне.

— Феденька-то, чай, весь зашёлся... так и увяз в сугробе... Не обморозился ли?

Она наклоняется надо мной и чмокает меня в губы. Катя молодая, здоровая. Она весёлая, с дедом держит себя дерзко. Когда он проверяет, сколько она с матерью напярля клубков, и ворчит недовольно, она кричит: